

Утесов Л.О

1985
24/III

24 МАР 1985

Московский Телевидение
г. Москва

ЧТО ТАКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

САМОЕ фантастически невероятное в этой передаче — ее деловитая, благонаправная рубрика: «Продолжаем разговор о музыке».

Дело тут вот в чем. Готовя очередное звено цикла, автор, музыкальный комментатор Ольга Доброхотова, при режиссуре Людмилы Александровой встретилась с маститым, уже после всяческих перипетий признанным и посвоему канонизированным, знаменитейшим музыкантом, а любил его, видимо, всегда, еще и задолго до успешного завершения биографического сюжета. Речь идет о Леониде Осиповиче Утесове.

Оказалось — встреча последняя. Он сидит, беседует, вспоминает, рассказывает, поет. А впереди, совсем уже недалеко неизбежный для человека на девятом десятке лет конец. Теперь пришлось, естественно, поставить и это скорбное название: «Последняя встреча с Утесовым».

Но рубрика вовсе и не собиралась никуда исчезать, застенчиво прятаться. Как бы и не заметив, не желая замечать того, что случилось, она настаивает на своем: разговор — продолжаем. А в чем, собственно говоря, дело?

Вот тут ошеломленно чувствуешь, на что оно способно, телевидение. Далекого она делает близким, недоступного — понятным, знаме-

нитого — знакомым. Оно призвано сметать преграды и расстояния между людьми и человеком. Всякие. И даже — страшно подумать — и этот предел для телевидения оказывается преодолимым.

И вот комментатор выводит к нам Леонида Осиповича, усаживает, расспрашивает... А мы всматриваемся в его лицо с неотрывным интересом. Что поделает? «Когда человек умирает — изменяются его портреты...» — это Анна Ахматова не зря сказала.

Он добр — констатируем мы. Может быть, это раньше не было столь заметно. Нас все-таки удерживала на некотором почтительном расстоянии его широкая известность, даже слава. Он был необыкновенно энергичен, больше, чем средний его слушатель, и слушатель, случалось, задумывался: а почему он так энергичен? Зачем это ему надо?

И так как обращался он ко всем, в том числе и тем, кто заражен обывательскими «объяснениями», то они тоже витали в воздухе. Ему присылали всякие письма, например, с требованиями выслать денег — «а что такого, у него их знаете сколько...». И зависть была, и стремление объяснить все попроще, понятней, житейски — даже пусть это покажется ему обидным. Он ведь такой же, как мы!



Так — недешево — обходилась порой неслыханная популярность... А вот теперь он сидит, никуда не торопится, разговаривает о том, о чем спрашивают. И главное становится заметной.

ЕГО кое-кто склонен был считать своеобразным предводителем полчищ «легкой музыки». Между тем он не делил ее на «легкую» и «тяжелую» — любил хорошую. Преклонялся перед Бахом, Чайковским. Его душевный порыв, как он застенчиво признается, был где-то в области симфонизма...

Его иные воспринимали как безудержного новатора, еще бы, само слово «джаз» чего стоило. А он вот говорит, что современные гармонии в музыке его смущают. А уж об абстрактной живописи он судит так, что это способно успокоить сторонника самых привычных, обжитых форм в искусстве.

О. Доброхотова ведет себя рядом с ним очень интересно. Она, наверное, искренне любит его искусство и высоко ценит этого человека. Но вместе с тем она чуточку не-

спокойна — а как прикажете вести себя в присутствии чуда? Чувствуя некую неловкость, она вдруг спешит, забегает вперед и подробно объясняет при помощи отточенной музыкально-публицистической терминологии то, что он не договорил. В частности, как это так получается, что, скажем, звонкую и романтическую «Лейся, песня, на просторе» не пели в застольях, а вот немудреную «У самовара я и моя Маша» — пели.

Он простодушно улыбается. Вот, пожалуй, доминанта. Простодушие. Он любит Чайковского и Баха. Но не для того, чтобы как-то подчеркнуть свою тонкость и изысканность. А просто. Он и объясняет все по-своему, как-то, наверное, не так, как музыковеды. А песню он, естественно, любит не меньше.

Мы видим его юмор. Стихи он начал писать после шестидесятилетия. И, естественно, техническая безупречность его «самодельных» строк легко поддается критике. Он, похоже, и сам это знает — и ничуть тем не смущен. Не сами по себе, а в связи с ним эти стихи невероятно милы — кажется, они более отделанными стали бы хуже.

Нет, главное, наверное, — в его беспредельном демократизме, который соединен — намертво — с чувством собственного достоинства и достоинства окружающих, всех людей.

И «старшие музы» благосклонно склоняются не то над ним, не то перед ним. Здесь и «Чакона» Баха гордится не своей огромной высотой, а тем, что пришлось ему по душе. Вот он напевает тему любви из «Ромео и Джульетты» — и симфонический оркестр благодарно подхватывает адажио Петра Ильича Чайковского.

А он уже показывает нам, как он слушает скрипачей. Сидит. Скрипач играет старательно. Но вот приближается сложное, гибельное место. Утесов напрягся, лицо мучительное, сопереживающее — справится ли? Вдох облегчения, он откидывается на спинку стула. Пронесло. А другого скрипача он и слушает по-иному. Просто наслаждается. Мысль о сложностях и в голову не приходит. Так вот, это все о Зурабе Соткилава — тот поет, а мы слушаем и не боимся за певца.

Еще смешной эпизод. «Гремела ночь над бурным Черным морем», народная песня о броненосце «Потемкин». Так ее (как слышанную от какого-то матроса) и представляет скромный автор важному начальству, от которого зависит судьба песни. У начальства увлажнены глаза.

— Нет, вы скажите, Леонид Осипович, — говорит оно, расстроганное, — почему народ может так, а композиторы нет?

Утесов застенчиво — недоуменно пожимает плечами. И в самом деле, почему так получается?

А ведь начальство право. Утесов в данном случае и есть тот «неизвестный матрос», фольклор тоже ведь кто-то создает, вот сейчас он. Демократизм актера и талантливость народа здесь воплощены в одной и той же песне.

НЕТ, мы все-таки живем в каком-то ином времени, не таком, как раньше. «Разве можно считать ее (эту встречу) последней? Он жив в памяти людей, знавших и любивших его, в памяти многочисленных поклонников его большого таланта, жив в лентах кинематографа, в звуковых дорожках пластинок, телевизионных съемках».

Все так, конечно. Только раньше эти и другие такие слова были неким иносказанием, своеобразной метафорой, поэтической вольностью, а теперь они наполнены куда более живым и осязаемым смыслом. Факт смерти становится не главным, почти стирается перед богатой сущностью жизни...

В самом деле, телевидение может делать то, что вот еще недавно было бы названо небывлостью, чудом. А тут, на Земле, такой порядок: раз ты можешь делать что-то необходимое людям, значит, должен.

А. АРОНОВ.